

Матиас Энар

СОВЕРШЕННЫЙ ВЫСТРЕЛ



СОВЕРШЕННЫЙ
ВЫСТРЕЛ

Хотелось бы оставить после себя лишь еле слышную
песнь дозорного, ту, что он напевает, чтобы убить
время. Ему неважно, произойдет что-нибудь или
нет, упоительно само ожидание.

Андре Бретон. Безумная любовь

Самое главное — дыхание.

Терпеливое, спокойное и размеренное: вначале нужно прислушаться к собственному телу, к биению сердца, к спокойствию плеча и руки. Нужно, чтобы винтовка стала частью тебя самого, твоим продолжением.

Главное — даже не мишень, а ты сам. Нужно организовать пространство, неважно, где ты — на крыше или за окном, — нужно проверить его, освоить. Ничто так не раздражает, как кошка, прошмыгнувшая за спиной, или пролетевшая птица. Нужно быть собой, и только: глаз — на линзе прицела, металлическая рука тянется к мишени, чтобы до нее добраться. Сидя на крыше, я просматриваю тротуары, заглядываю в окна, наблюдаю, как живут люди. Я могу добраться до них одним нажатием спускового крючка. Это совсем непросто, наоборот, это очень сложная профессия, она требует точности и сосредоточенности. Люди думают только о выстреле и о его результате. Им неведомо, что я слышал в своем сердце их сердцебиение, сдерживал

любое проявление чувств, что я задерживал дыхание перед тем, как, обычно говорят, нажать на курок, но я ни на что не нажимаю, наоборот, я освобождаю шептало, в итоге ударяющее по капсюлю, а он поджигает порох, способный выбросить пулю на тысячу двести метров и вас убить. Или не убить. Иногда вы тщетно пытаетесь произвести самый красивый в мире выстрел; но тут есть особые тонкости: между вами и намеченной целью возникают препятствия, порыв ветра может незаметно качнуть оружие стрелка; уличный шум может вас отвлечь, или вы вздрогнете от взрыва или гудка машины. Но сам выстрел всегда безукоризнен. Я стреляю только наверняка. И редко. Бывают дни, когда мне случается подстрелить на улице птицу, а до того я битый час наблюдал, как она крутится в небе, и тем временем готовился, вычислял ее перемещения, думал о движении воздушных масс под ее крыльями, выверял расстояние, ее полет. Обычно я целюсь в крыло и смотрю, как она, вертась, падает, или пытаюсь слегка коснуться птицы, почти не задев, царапнуть ее пулей. И она все равно падает. Если они достаточно высоко, некоторые снова взлетают, не достигнув земли, но большинство пугаются и разбиваются. Славное упражнение. Я стреляю лучше всех, потому что стреляю редко. Не больше десяти патронов в день. Не потому что установил норму. Просто стреляю только наверняка. Всю работу проделываю заранее.

Не знаю почему, но я помню все свои выстрелы. Я их не путаю, они все разные. Выбираю только сложные. Вначале, когда я был новичком, я бало-

вался, как все, чтобы скрыть свое неумение. Я выбираю только сложные выстрелы, потому что получаю от них больше удовольствия. Те, кто этого не понимает и стреляет по всему, что движется, — идиоты.

*

У меня такое ощущение, будто я стрелял всю жизнь, хотя начал всего-то три года назад; когда я вспоминаю о том, как начинал, мне становится стыдно. Всему можно научиться. Моим первым выстрелом я убил мужчину-таксиста, в начале войны. Мне показалось, что я его задел, поскольку машина врезалась прямо в стену. Я подождал на всякий случай, пока водитель выйдет; меня трясло, я тыкал винтовкой в разные стороны и смотрел, не бежит ли кто-нибудь ему на помощь; я всадил наугад две пули в переднюю левую дверцу, но, разумеется, он не вышел, и никто к нему не подошел. От этого у меня навернулись слезы на глаза, я не знал, что делать; из-за крыши машины, загораживающей вид, я даже не видел, как человек истекал кровью, меня охватила паника прямо на крыше моего здания высотой пятьсот метров. Эффект окуляра. У меня было ощущение, что я там и что я — уже не я. Я не мог понять, тот ли я, кто стреляет, или тот, в кого стреляют. Мне стало очень страшно, я прилип к прицелу винтовки так, что остался почти без ресниц. К тому же справа от машины стоял высокий дом, закрывающий мне правую дверцу. Неожидан-

но кто-то метнулся через мертвое пространство, я рефлекторно туда выстрелил, разумеется, промахнулся и попал в машину, потому что тогда не знал, что в оптический прицел плохо представляешь себе расстояние между предметами. Пришлось перезарядить, и я потерял из виду место действия, поскольку не определил как следует точку, куда целился; мне понадобилась целая минута, чтобы снова отыскать машину среди домов, и все из-за паники. Я вспотел, стояла жара, дело было летом в начале войны, и пот, стекавший со лба, мешал мне целиться. Снова определив место, я подождал еще четверть часа, но с простреливаемой стороны машины никто не вышел. Я растерялся, не понимая, умер ли тот мужчина, убил ли я его, или все случилось из-за аварии. Именно в этот момент я осознал, что струсил, потому что выбрал самый сложный выстрел — в человека, на три четверти скрытого в движущейся машине. По сути, полагаю, я хотел тогда оставить ему шанс, что и называется — трусость. Либо ты стреляешь, либо не стреляешь. Надо выбирать, иначе ты — трус. Но я это понял не сразу.

*

Молча обзираю город. Надо идти до конца. Мало у кого получается. Люди останавливаются по дороге, иногда невольно, ровно на прорези прицела, будто охваченные какой-то предсмертной интуицией. Все видят кровь и боль, не понимая, что есть что-то еще, некая тайна, дрожащая подобно пре-

дельной черте, веревочному мостику, который покачивается от ветра. А я — как раз там, в это мгновение. Я живу в интервале между нажатием на спусковой крючок и конечной точкой траектории пули. Я растворяюсь в воздухе между собой одним и другим, властелином над первым. Это исчезновение живительно. Это невероятное удовольствие, его нужно заслужить и знать, как его достичь.

Я смотрел на нее, зная, что в глубине души ей страшно. Она видела лишь результат стрельбы, смерть и все, что происходило потом. Однако ведь все умирают, что я могу поделать? Теперь я не так явно и четко ощущаю ее пульс, как под прицелом, ко мне прижато только ее тело, и она ускользает, ее лицо совсем близко от меня, но оно почти исчезло. Она не может представить себе напряжение, силу, желание того, кто держит оружие. Ей не понять. Может, это судьба великих артистов — оставаться непонятым? Не знаю.

В начале войны мне дали русское ружье, оно мне было не по душе, но ничего другого не нашлось. Я даже толком не знал, как отрегулировать визир; короче говоря, я с трудом попадал в неподвижную мишень со ста метров. Впрочем, я — сообразительный и быстро научился. Сто раз отлаживал это чертово ружье, пока не разобрался. Потом, спустя пару месяцев, когда бои стали рутинной, они увидели, что я — выдающийся стрелок, и дали мне настоящее оружие. За это офицер, который мне его принес, попросил убрать одного типа — он якобы клеился к его жене, толстой дамочке, к которой не полез бы ни один здравомыслящий человек. Кра-

сивый выстрел из старого русского ружья, поскольку новое еще не отлажено. Я всадил ему прямо в грудь, под левое плечо на пороге его дома.

В то время единственным моими друзьями были ружье, море и Зак — по степени важности. Море я созерцал часами с крыши. Хотя я не романтик, оно мне всегда очень нравилось. Оно меняет цвет, волнуется или совсем не колыхнется. Например, в первое лето войны оно совершенно застыло и только время от времени подергивалось легкой зыбью. Целый день оно было ослепительно-синего цвета, и даже ночью ничего не было слышно. Однажды ночью мы отправились купаться на скалы под маяком, Зак и я; вода была теплая, как воздух. Как в ванной. Город бомбили, а мы сидели в воде, плавали на спине и наслаждались зрелищем. Поплавали мы недолго, поскольку боялись, что в нас, голых плескающихся идиотов, случайно выстрелят. Было так здорово, что, когда мы выходили из воды, нам казалось, что веет прохладой. Потом мы вернулись в часть, и я снова поднялся на крышу. Практически все лето я провел на улице, мать видела меня лишь пару раз. Она уже наполовину сбрендила, ничего не осознавала. Только спрашивала, осталось ли еще кого-нибудь убить. Соседка, которая за ней ухаживала, меня боялась, и мне это нравилось. Она считала меня убийцей. Мне достаточно было взглянуть ей прямо в глаза и два раза стукнуть по металлической части винтовки своим перстнем, чтобы она заткнулась... Тук-тук. Заткнись. Тебе не понять. Я тебе нужен, чтобы тебя защитить. Так говорила моя винтовка. Ты меня ненавидишь, но

обязана меня терпеть. Это — война, сколько можно повторять? Тебе хотелось бы, чтобы кто-то другой, незнакомый, смотрел бы на тебя с крыши в оптический прицел? Считай меня своим ангелом-хранителем. Но ей становилось все страшнее и страшнее. Она говорила, что слышала, будто кто-то стрелял даже по детям в школьных дворах. «Не я», — соврал я. Впрочем, не знаю, зачем соврал. Но это было только начало, и никто еще не понял, что все безвозвратно изменилось.

Мы-то с Заком уже смутно предчувствовали. Особенно он. Он ворвался в войну очертя голову, как прыгают в воду. Стоило на него посмотреть в заграждений, этакого гордого петуха. Одним движением ружья он с надменным видом останавливал машины; в кармане у него всегда лежала радиоантенна от машины, которую он складывал как хлыст, чтобы стегать непокорных. Его выпендраж меня немного раздражал, особенно по отношению к женщинам; как только он какую-нибудь останавливал, распускал хвост как павлин или драный петух. Для меня заграждения были настоящей обузой, отвлекающей от стрельбы и от войны. Конечно, это было необходимо, надо было показать, что порядок — это мы, воины, и мы обеспечиваем безопасность. Но это была самая ужасная, изнуряющая потеря времени посреди дороги, под палящим солнцем; мы нервничали и в конце концов срывались на каком-нибудь бедняге, у которого не было документов, расстреливали его позади грузовика или, если Зак оказывался в благостном расположении духа, надевали «шпиону» мешок на голову

и уводили прогуляться в подвал, откуда он не возвращался. Подобно новичку-невежде, принимающему за произведение искусства все, что видит, я восхищался умением Зака. Понятно, он ведь был на четыре года старше меня.

*

Седьмого августа я отметил свое восемнадцатилетие. Кажется, объявили перемирие, но не для меня. Я стрелял реже, потому что совершенствовался, вот и все. В любом случае все знали, что это перемирие — курам на смех и нужно лишь для того, чтобы выиграть время. Я по-прежнему сидел на крыше. По ночам я брал бутылку спиртного и пачку сигарет. В темноте стреляют, конечно, редко, однако я различал внизу силуэты людей и наблюдал за городом. Искал тени.

Лучший час — утренняя заря. Освещение идеальное, не слепящее, отблесков нет. Люди встают навстречу новому дню, они более доверчивые. На пару секунд они забывают, что их улица просматривается с наших домов. Именно на рассвете я совершил некоторые из моих самых удачных выстрелов. Например, дама, которая с таким счастливым видом вышла из дома в красивом платье и с корзинкой. Я вмазал ей в затылок, она рухнула как подкошенная, как марионетка, у которой обрезают ниточки. Так было вначале, тогда люди к этому еще не привыкли. Потом выстрелы стали делом обычным, все уже знали, где пройти, где таится опас-

ность. Я словно контролировал часть города. Это было одновременно лестно и обидно, потому что стрелять становилось все сложнее, теперь я должен был отрываться от товарищей и больше тренироваться. В некотором смысле так было даже лучше, потому что мне начали надоедать заграждения и бесконечная карточная игра. Офицер, который подарил мне ружье, оставил меня в покое, товарищи вопросов не задавали; Зак иногда заходил ко мне на крышу, приносил бутерброд, или мы просто болтали. По-моему, он немного ревновал, потому что всегда неважно стрелял. Он был неспособен попасть в неподвижную мишень с пятидесяти метров. Зато ему отлично удавалась рукопашная, он умел орудовать ножом и кулаками. Чтобы подготовить хорошего бойца, надо знать его сильные и слабые стороны. Зак был одним из лучших в засаде. Все им восхищались.

*

Как раз в это время, в разгар лета, мать окончательно сбрендила. Выскакивала на балкон голая, орала ночами напролет. Перестала мыться, потому что боялась воды. Соседка отказалась приходить, потому что мать ее царапала и доводила. Каждый вечер она выставляла из квартиры около входной двери всю мебель: сначала двигала по кафельному полу комод, потом диван, стулья. Однажды я решил вернуться домой к полуночи, и мне пришлось влезать через балкон. Ее состояние ухудшалось день ото